

Интервью с заместителем главного редактора журнала «Назирровский архив» Сергеем С. Шауловым*

Сергей, расскажи о своих первых впечатлениях (о которых ты помнишь) от встречи с Ромэном Гафановичем Назировым.

— В моём случае это важное уточнение: впечатления, о которых я помню. Потому что есть встречи, о которых я помню, но есть и встречи, о которых я знаю. Встреча, о которой я знаю, это семейная байка. Моя мама, ныне профессор В. В. Борисова, меня притащила в гости к Ромэну Гафановичу то ли трёх-, то ли двухлетним. Назиров, посмотрев на резвящегося меня, выдал вердикт, что мальчик будет «умным, но нервным». А моя встреча с ним состоялась в 1994 году, мне было 13 лет, потому что мы переехали из Павлодара в Уфу летом, и когда мы устроились, мама пришла со мной в гости к Назирову. Жили мы до этого в Казахстане. И первая фраза, с которой он обратился к моей маме, была шуточной: «Валя, он на казаха стал похож!» Дальше разговор я детально не помню, хотя помню ощущение от этого разговора. Он вызывал уважение, то есть чувствовался масштаб личности. Я был в ту пору широко, но бессистемно начитан, интересовался восточными религиями. И помню, мы с ним долго разговаривали об индуизме. Он что-то рассказывал про Кришну в своей лёгкой беллетристической манере: «Смеялся, любил девушек, ходил по Индии». В духе того, как он читал лекции, только с поправкой на близкую дистанцию и, вероятно, на возраст собеседника: он сидел на своём любимом диване в зале, куря. А я - на стуле сбоку от стола и мы с ним беседовали. Маме почему-то показалось (она потом это высказала), что он несколько надо мной подсмеивался. Потому что у меня, естественно, были пробелы в образовании, в культурологических представлениях. При разговоре я этого не почувствовал. В ту встречу я не помню Тамару Николаевну. Может быть, она была на работе или куда-то ушла. А где-то через неделю они пришли с ответным визитом. Там всё прошло благостно. Запомнилась деталь. Он обувался, когда они уходили, я подал ему ложку для обуви. Он с апломбом ответил: «Нет-нет, я ещё могу наклониться». Наклонился и поправил язычок обуви.

*Беседовал главный редактор «Назировского архива» Б. В. Орехов.

— Молодился?

— Да, молодился. Мне было сложно оценить, но он не производил впечатления старческой немощи в ту пору.

— Но выглядел он как старик?

— Я видел уже более глубоких стариков уже в ту пору. Я не скажу, что он выглядел дряхлым. Он выглядел как пожилой человек, но слабости не чувствовалось, хотя это было три года после первого его инсульта. Он, видимо, полностью восстановился. Потом какое-то общение, вероятно, было. Я не помню, чтобы меня водили к нему специально. Наверное, встречались ещё до поступления, может быть, пару раз. Потом я поступил на филфак.

— А на решение поступать на филфак его личность не оказала влияния?

— Нет, я тогда всё-таки не представлял эту личность в полном объёме. То есть не оказала. Решение поступать на филфак было отчасти паллиативным. Мне хотелось ехать в столицы, но это было невозможно по ряду причин. Одна из первых лекций (может быть, не в первый день, а на второй-третий) была его лекция по курсу «Культура и религия» и она, конечно, поразила и этот курс дал, по сути, больше всего остального, что было в этот первый год обучения. Мне сразу стало понятно, что эти занятия пропускать я не должен. И на первом курсе не пропустил ни одного его занятия, а он у нас вёл, между прочим, ещё и введение в литературоведение. Этого экзамена очень боялись, но мне было ясно, что я его сдам, хотя и готовился на совесть. Ну, во-первых, я понимал, что он не станет меня «валить» ни в каком случае. При всей своей объективности он мог иногда «пойти навстречу». Если бы я был абсолютным двоечником, он бы не ставил мне пятёрки-четвёрки, но и выкинуть с филфака тоже не дал бы. В моём случае это облегчалось тем, что я был отличник (и отличник без особых усилий, что тоже развращало). Этот экзамен я сдал легко, хотя там проявилась резкость его характера. Впервые я увидел её, когда он на лекции нарычал на опоздавших девушек. Он лекцию не читал по бумажке, у него могли быть какие-то схемки в руках (пункты плана), а так он говорил свободно, спонтанно, мог увлечься, симпровизировать и так далее. Это, естественно, требовало сосредоточения. И когда на первом курсе (ещё не выучили, что нельзя так делать), когда девочки могли завалиться в аудиторию, он мог один раз строго зыркнуть, второй раз смолчать, но не везло третьей партии опоздавших, потому что они получали рык: «Что это такое!». Было видно, что он так может.

— В одной из прошлых биографических публикаций (кажется, в «Диалог. Карнавал. Хронотоп» в воспоминаниях Марии

Рыбиной¹) написано о том, что это было обусловлено почти режиссёрской постановкой лекции, лекция была своеобразным спектаклем, а опоздавшие нарушали ход действия. Насколько это так?

— Я не уверен, что это был именно спектакль. Эта мысль дискуссионная. Мне кажется, что не было жёстко заготовленной речи, потому что даже по тем конспектам для себя, которые мы сейчас имеем, видно, что он читал не прямо по ним. Он что-то компоновал, что-то мог добавить в текущем режиме. Потом он же общался с аудиторией. Он мог пошутить, мог что-то спросить, мог вступить в небольшой диалог. Всё это требует от преподавателя сосредоточения именно на самом процессе выстраивания лекции. Когда вдруг за спиной хлопает дверь, естественно, у горячего увлечённого человека это вызывает отрицательную реакцию. Он мог так прорычать. На экзамене там был другой инцидент. У нас была такая девица, несколько скандалезная, которую мы обозначим как А. Х. Я не знаю, чего она начиталась, а может быть, начиталась и перевернула то, что начиталась, а может быть, ничего не начиталась. В общем, она начала с ним спорить и вышла за рамки корректности, что-то ему резко ответила, он взбеленился и прогнал её: «Вон отсюда!», несколько театральным аффектированным жестом указав на дверь. Справедливости ради, он мгновенно успокоился, то есть ни на ком это не отразилось. То есть следующая девица садилась отвечать, дрожа и думая, что преподаватель разозлился, но нет, она нормально сдала. А на передаче эту А. Х. он принял опять же без проблем.

— Вы говорите, что уже на первой лекции по предмету стало понятно, что это тот предмет, который нельзя пропускать. Что было ключевым в понимании именно такого статуса этого предмета?

— Для меня ключевым было то, что я не просто узнаю новое (я уже тогда знал, что всё, что я захочу изучить, я смогу изучить самостоятельно), а мне дают то, что я самостоятельно не достану так просто. Мне дают систему. Мне это интуитивно стало понятно сразу.

— А в чём проявлялась системность? Это же не были простые перечисления?

— Да. Это очень сложный вопрос. Я боюсь соврать, тем более, что я, конечно, переношу мысли себя сегодняшнего в себя тогдашнего. Я вряд ли рассуждал именно в таких категориях. Это, конечно, было интуитивно. Наверное, системность получалась из того, что он непрерывно увязывал сказанное на этой лекции, на прошлой, и эта мысль не прерывалась.

¹ «Диалог. Карнавал. Хронотоп». 2009. № 2. С. 136.

Как очень часто читают курс истории религии очень часто? Вот прошли архаику, первые земледельческие цивилизации (Междуречье, Египет), что-то рассказали, первый монотеизм. Потом (если входит это в курс) — бац! — перенеслись на Дальний Восток и возникает впечатление дискретности. У него этой дискретности в лекциях не было. Надо посмотреть, видно ли по методичке, что это единая линия. Притом, что там происходило то, что нам говорили на семинаре, на котором мы докладывали о «Происхождении мифов...»: постепенное сужение. Он начинал с архаики, брал Дальний Восток, а потом всё приходило к Европе и финалом был русский Серебряный век, наше философское возрождение. Этим он заканчивал свои лекции. На последних лекциях у него, кстати, сидело меньше народу, потому что он переходил к более сложной проблематике. Пока там шла речь об архаике (которую он умело подавал, шокировал там, где надо, давал интересные детальки, которых у него было множество) студенты охотно ходили слушать, а вот когда начиналось Возрождение, усложнялась философская проблематика, между религией и искусством вырастала философия, там народ начинал потихоньку «сваливать». Я сидел и последние лекции мне дали больше, потому что кое-что я к тому времени почитал (особенно из русской философии), а что-то начитал потом уже с его подачи. Плюс на первом курсе я у него не стеснялся что-то спрашивать. Ну, и потом не стеснялся, но тут мог подойти прямо на перемене, и он мне говорил, кого следует ещё почитать. От него я, например, услышал, что экзистенциалистов XX века лучше читать немецких (или немецкоязычных), связанных с Хайдеггером. Фамилию Ясперса я от него услышал на первом курсе. «Миф. Символ. Образ», лосевская книжка. Он же мне указал. То есть он давал такие направляющие, и я в ту пору это впитывал.

— Судя по твоим воспоминаниям пятилетней давности² ты иногда наблюдал и за реакцией аудитории: были студенты, которые не записывали, потому что не хотели отвлекаться от созерцания лектора.

— Да, были такие, но это были девочки. На них он производил сильное впечатление. В ту пору он не был дряхлым и не чувствовалось в нём слабости. Это был мужчина. И у меня такое впечатление, что многие девочки ходили туда на него посмотреть: сядут, голову на локоток положат и смотрят влюблёнными глазами. Может быть, я слегка преувеличиваю, но такие впечатления были.

— То есть аудитория делилась на тех, кто слушал, и тех, кто созерцал.

²«Диалог. Карнавал. Хронотоп». 2009. № 2. С. 133.

— Но некоторые, конечно, ходили отбывать номер, неизбежный балласт: типа вот поступили, на лекции делали вид, что писали, но и они периодически отвлекались, потому что яркая деталь привлекала их внимание. Это были в основном парни, которые туда попадали, чтобы избежать армии, как часто бывало в ту пору.

— **По тому что было сказано в начале, понятно, что у вас были некоторые, скажем так, личные неформальные контакты до поступления в университет. Продолжалось ли это после поступления?**

— Я не чувствую разницы. По собственной инициативе я в ту пору прийти к нему домой не мог. Не то что он бы меня не принял или выгнал, но как-то это было неприлично. Вместе с матерью по приглашению — да. А так он меня отличал. Ну, во-первых, у меня была базовая подготовка выше, чем у любого моего однокурсника просто потому что я что-то читал по теме до занятий. Он, конечно, это отмечал хотя бы по вопросам, которые я мог задать ему на перемене. Это одно. С другой стороны, не только я задавал ему вопросы, он вообще служил центром притяжения. Наблюдая, как он разговаривает с другими, я не могу сказать, что в университете он меня как-то демонстративно выделял. Нет, он равным образом полно и стараясь быть максимально понятным отвечал на вопросы любого студента. Даже на глупые вопросы. Иногда мог отшутиться, если уж совсем глупость спросят, как вот девочка только ради того, чтобы приблизиться и задать вопрос. Особого к себе отношения я с его стороны не чувствовал. Более того, когда потом стали ясны довольно быстро мои интересы (западная зарубежка, немецкий модернизм, философия), он дал понять, что ему они не нравятся, и он ждёт меня в аспирантуру по его специальности, но ни разу не позволил себе воздействовать, хотя нашёл бы аргументы. Но я как-то сам понял, что научный руководитель в его лице — это самое крупное, что у меня может быть, и пошёл к нему. Но научное руководство было довольно странным.

— **А вот это решение идти к нему как к научному руководителю — когда состоялось?**

— Ну, понятно, что на третьем курсе не шла речь об аспирантуре, хотя про меня шутили, что я с первого курса принят в аспирантуру. Хотя это не связано с Назировым. Но я сам понимал, что в армию я не хочу, с военной кафедры я ушёл, значит, надо что-то стараться делать. При этом я пошёл на кафедру XIX века на третьем курсе ещё не строя конкретных планов.

— **Это просто была специализация.**

— Да. Ясно, что из кафедр филфака эта была единственной, где я мо-

гу оптимально существовать.

— **На нашем курсе распределение состоялось на втором году обучения.**

— Но мы же на третьем писали курсовую.

— Да.

— Ну, может быть, формальное распределение состоялось на втором, но у меня этого момента не сохранилось в памяти. Может быть, это было настолько формальным моментом, что я об этом не помню. Я не могу сказать, что это было осознанным движением. Это опять же было ощущение интуитивной предначертанности. Вот на втором курсе я думал, не пойти ли на зарубежку. Но потом подумал: да ну! Там, вроде как по-жестче со студентами обращаются. С другой стороны, придётся сильно подтягивать немецкий, а трудиться в эту сторону мне совершенно не хотелось. Я пошёл по пути наименьшего сопротивления, тем более, что это не было паллиативом. А на третьем курсе был момент выбора курсовой. «По чему будешь писать?» Я говорю: «Мальчик у Христа на ёлке». Я там накатал какую-то дикую курсовую страниц на шестьдесят.

— **Дикую в каком смысле?**

— По объёму. В ней были какие-то юношеские идеи. Одну я впоследствии развил и это даже одна из моих первых публикаций уже аспирантских времён. Но по содержанию это, конечно, был реферат, очень добротный, тем более, что у меня был доступ к литературе. Что-то он, кстати, сам мне принёс, книгу статей Роберта Джексона.

— **Он охотно давал литературу?**

— Студентам-третьекурсникам не очень охотно. Дипломникам давал, и разрешал что-то у себя там смотреть. Они к нему ходили на консультации и группами, и поодиночке. Он очень мощно руководил, на самом деле. Но про это я ещё расскажу. Мне он дал эту книгу, но, опять же, я не думаю, что потому, что он меня выделял как-то особо, а потому что понимал, что я не потеряюсь. И даже если потеряюсь, эту книжку есть с кого спросить.

— **Руководство было странным?**

— В моём случае. Объясню, почему. Он как-то с самого начала дал мне полную свободу. Он сказал однажды, что нам надо бы на кафедре гоголеведа. И потом несколько раз повторял с намёком «займись Гоголем». Я внаглую сначала сказал, что буду писать о «Мальчике у Христа на ёлке», потом на четвёртом и пятом курсе были «Братья Карамазовы», и он с этим согласился. Дипломную бакалаврскую (мы были первыми магистрами, а после четвёртого курса как раз можно было пойти в магистратуру) работу он мне дал. . . я боюсь, что не припомню точно формулировку. Звучала она что-то вроде «Евангельский аспект детской темы

«Братьев Карамазовых»». Написал я в итоге нечто совершенно иное. По сути, это были первые главы магистерской работы — об античном и средневековом контексте «Братьев Карамазовых». Он пожал плечами, сказал «Ну хорошо», что-то поправил уже перед защитой. Потом в магистратуре указал ещё пару книжек. Одну, которой у нас тогда не было, по-моему, дал. Это был Р. Бэлнеп «Структура «Братьев Карамазовых»».

— **Сколько у вас было рабочих консультаций на четвёртом курсе?**

— Именно рабочих немного. Сейчас тоже расскажу. Он помог с формулировкой темы, когда выяснилось, что я хочу хронологически расписать весь контекст романа. Естественно, идея была бредовая и неисполнимая. Он и этого не сказал, хотя к теме отнёсся иронически, была усмешка. В итоге это его формулировка — «культурный фон». Рабочих консультаций было немного, просто потому что я ему не носил куски текста.

— **А он не просил?**

— А он не просил. Но мы разговаривали на какие-то другие темы.

— **На кафедре или у него дома?**

— У него дома реже, я редко к нему заходил. Во-первых, это было уже когда ушла Тамара Николаевна. Мне всегда казалось, что я ему мешаю. Мне кажется, как ни странно, что дома он был более закрытым.

— **У меня такое же впечатление. Но со мной он никогда не был особенно открытым.**

— Да и со мной не был. Он жаловался, что нет гоголеведа на кафедре, имея у себя в архиве изрядное количество законченных трудов по Гоголю. Так что я не могу сказать, что он как-то был со мной открыт. На кафедре мы с ним разговаривали. Плюс была история, что раз в неделю мы шли домой и нам было по пути и по дороге разговаривали. Я начал увлекаться Башлачёвым и носил ему эти статьи. Первый раз он бросил: «Ну принеси». Он их читал. Я приношу — а он садится и начинает читать, правит опечатки, стиль, делает пометки. Он не критиковал, мне кажется, что читал с интересом. Во всяком случае, он именно читал, не просто просматривал. С Башлачёвым он, видимо, был не знаком. Я ему приносил кассеты, он сказал, что послушал, наверное, не совра, но не впечатлился. Но его и Высоцкий не впечатлил, как мы знаем по дневникам. Пример классика висоцковедения показывает совершенно обратное. Когда я в своё время Сергею Михайловичу Шаулову принёс «Таганский концерт» Башлачёва, он на следующий день был в восторге: «Великолепно!». Назиров отнёсся с холодным интересом. Единственное, что было сказано: «Надо большими вещами заниматься». Правки к работам он делал стилистические.

— **А вот эта сцена чтения ваших статей при вас же происходила на кафедре?**

— Нет, это дома. Статьи я таскал к нему домой. На кафедре были разговоры консультативного характера. Он часто увлекался и мог рассказать что-то дополнительное с уходом в биографии того или иного персонажа. Он мне рассказал биографию Гегеля в своё время. Не так резко, как в «Становлении мифов. . . », но в том же ключе.

— **В чём чувствовалась его закрытость? В том, что он ничего не говорил о себе лично? Или просто в какой-то микромимике?**

— Бог его знает. Это было ощущение.

— **Но о себе он ничего не рассказывал?**

— Он как раз мог что-то рассказать. Не помню, по какому поводу это было сказано, по поводу какой-то моей идеи или текста (кажется, при завершении магистерской), но он сказал, что не надо бояться. Он развил какую-то мою мысль. Мне показалось, что это слишком смело. «А ты не бойся. Пока молодой, не надо бояться. Я вот в молодости часто ошибался и завирался, но всегда верил в то, что говорил, и это действовало». Какие-то вещи о себе он мог рассказать.

— **Но не о сиюминутном, не в том духе, что вот «сегодня очень громко во дворе работала бригада ремонтников».**

— Да, это были байки. Они ни к чему не обязывали. Строго говоря, это даже не есть откровенность. Он мог рассказать о себе анекдот. Но не что ел на завтрак, и не о своих чувствах и эмоциях по каким-то важнейшим жизненным событиям.

— **О семье же не рассказывал? О сыновьях?**

— Нет. Я тоже слышал эту историю про ссору с сыном Станиславом из-за трактовки «Гамлета», но не от него. Но он бы и мне мог рассказать, он это рассказывал всем, он был возмущён. Надо спросить у Станислава, в чём там был спор. В деканате рассказывал, насколько я помню.

— **Но это ведь не рассказ о сыне, это рассказ о Гамлете.**

— Он мог сказать, что у него женился сын и «Ах, какая красивая у него немка». Но это опять же не есть откровенность.

— **Это всё происходило в ситуации общения научного руководителя и студента. Но вы же с матерью продолжали ходить к нему в гости?**

— Я не помню, чтобы я на старших курсах ходил к нему вместе с матерью. Во-первых, курсе на четвёртом я поехал на Достоевские конференции, и хорошо понял, что мне надо формировать своё собственное имя в науке о Достоевском, поэтому там был момент дистанцирования вплоть до того, что я не пошёл на его день рождения как раз по этой же причине. Потом пришёл отдельно и поздравил. Глупо, конечно. . .

— **Как думаешь, заметил ли он это дистанцирование?**

— Может быть, и заметил.

— **Это в чём-то проявилось?**

— Может быть, в подталкивании к методологии. Потому что примерно об эту же пору или, вернее, лет за пять до этого, он консультировал мою мать по докторской (сама формулировка её темы, «этноконфессиональный синтез» — его), а меня толкал в совершенно другую сторону: Лотман, с его подачи я начал интересоваться постструктуралистами («почитай этих французов»). Я почитал, мне не понравилось. Он не ответил на это моё «не понравилось», но у меня есть впечатление, что остался доволен. Он нигде о них прямо не отзывается, но, конечно, то, что пишет Деррида, ему не близко. Он из предшествующей генерации теоретиков что-то для себя выбирал.

— **То есть он не стремился руководить в режиме ручного управления, а давал коридор направления и возможностей?**

— По большому счёту, мне он давал даже не коридор, а полную свободу. Куда хоти — туда лети. В каких-то случаях он осаживал. Я не припомню конкретики, но пару раз он именно разругал идею. Он похвалил идею акцентирования рецептивной природы полифонизма у Достоевского. Может быть, главное, что есть в моей диссертации — это идея, что диалогизм — это феномен рецептивный, а не структурный. Структура не полифонична, она единая и завершённая. Он её похвалил, хотя она ему не была близка, так как всё-таки понимал полифонизм как элемент поэтики.

— **Но если он давал такое широкое поле возможностей и направлений, в чём проявлялось подталкивание к методологии?**

— Он говорил: «Почитай Лотмана».

— **То есть лети куда хочешь, но Лотмана почитай?**

— Это опять же не было указанием. Я видел, как он руководит другими. Он же «вёл» других дипломников.

— **А в этой системе «я и Назиров» другие присутствовали? Было ли ощущение ревности?**

— В какой-то момент оно у меня возникло, потому что я увидел, что другими он реально руководит. А потом, когда донеслась до меня эта фраза, сказанная маме, что «он не литературовед, а литератор» или «скорее, литератор», я обиделся. Я как раз всерьёз свою фантазию осаживал, когда этим занимался. И в какой-то момент мне показалось, что он мной пренебрегает. Тогда же я начал работать в газетах, ему это не нравилось. Сначала он подумал, что это мама меня подталкивает. Она рассказывала, что он ругал её: «Зачем ты заставляешь его работать?» Она: «Ничего я не заставляю, он сам». Мне он ничего не высказал на эту

тому, но когда я пару раз просрочил ему что-то, он сказал: «Вы, Серёжа, разбрасываетесь». Он был со мной на «вы». Я понимал, что мы не в тех отношениях, чтобы он мог мной пренебрегать. Сейчас я понимаю, что он отчасти обижался, что каким-то его советам я не следовал, каким-то следовал не так.

— **Мы знаем, что он был обидчив.**

— Он был обидчив.

— **Это как-то себя проявляло?**

— Я не удостоился серьёзных обид. Наверное, его могло иногда коробить какое-то моё поведение. Я могу пообещать, что через две недели принесу статью, а появлюсь через два месяца. Потом ему не нравилось (и он высказывал это, через мать, мне лично он ничего такого не говорил, хотя я бы принял это от него), что на четвёртом курсе я фактически перестал учиться, тем более, что начались какие-то идиотские предметы, типа психологии, экономики и прочего. Я мог неделями не появляться на филфаке. Я мог раз в неделю прийти на его же лекцию, потом спокойно уйти, провожаемый тёплым взглядом декана. Там были серьёзные проблемы: на совете факультета вставали англичанки и говорили, что Шаулов не ходит. На английский мне совершенно было неинтересно ходить.

— **Мне кажется, английский сдавали в середине третьего курса.**

— Ну, может быть. Значит, это воспоминания ещё с третьего курса. Он меня защищал в этих случаях.

— **Какова была интенсивность контактов с ним в динамике? Начиная с первого курса потом через бакалавриат и к магистратуре?**

— На первом курсе интенсивно внутри университета, после лекций. Может быть, один-два раза в неделю я мог подойти поговорить. На втором курсе меньше, он тогда ничего у нас и не вёл. На третьем курсе тоже. Активизация произошла на четвёртом курсе. Там нужно было писать бакалаврскую работу. Я мог пройтись с ним два раза в месяц, он ходил по коридору в перерыве между занятиями, курил и бросал сигарету в угол. Это было гениально, всех поражало всегда. В магистратуре я редко к нему заходил, может быть, раз в месяц. Заходил я к нему только домой, в БГУ не было поводов пересекаться. Только если он специально назначал там встречу. Мама меня подталкивала ходить чаще. Она пару раз говорила, что Ромэн Гафанович, наверное, обижается, что ты к нему не ходишь. Я этой обиды не чувствовал, но по нему сложно было судить, каково ему на самом деле. Может быть, это было легче ученикам старшего поколения, которые его дольше знали, лучше в нём разбирались.

— Но ты всё-таки ощущал себя в конце как один из его главных учеников?

— После защиты магистерской. Во-первых, он был ею доволен, хотя и критиковал в некоторых аспектах. Доволен, даже весьма. Кажется, она убедила его в моей способности работать систематически, сосредотачиваться и выдавать концепцию. В аспирантуре отношение ко мне потеплело. Во-первых, у аспиранта другой статус, он может зайти на кафедру посидеть. Это мелочи, но значимые мелочи. Я стал приглашаем на кафедральные чаепития. Может быть, не на все, но всё-таки. Но моя аспирантура длилась недолго: я поступил в 2003-м. Мы определили тему изначально как «Структура «Братьев Карамазовых» в историческом контексте». Это ему было близко, потому что в определённом смысле это была частная и довольно хилая, но параллель к его докторской, где тоже представлено историческое развёртывание структуры, более глубоко, чем у меня в кандидатской. Вот эти полгода он был мной доволен.

— А ты чего-то ожидал от этого руководства? Ты представлял себе, как это будет — писать диссертацию под руководством Назирова? Это должно было быть так же, как раньше, или иначе?

— Я не то что надеялся, я планировал, был уверен, что я сейчас начитаю материал (я действительно первые полгода начитывал плюс время ушло на экзамены, плюс семейные заботы), расширю и дополню материал магистерской, а потом я представлял себе это так: мы возьмём и начнём обсуждать новые планы. Я планировал именно плодотворно подробно обсуждать. И, строго говоря, даже начал. В декабре 2003-го года я ходил к нему гораздо чаще.

— И такого не было раньше?

— Нет. Но опять же это я стал проявлять инициативу. Он всегда эти диалоги поддерживал. Это были плодотворные обсуждения. Тогда он указал мне на Пинского, но своего у него не было — кто-то зачитал. Он попытался разыскать, ворчал, что ничего невозможно в доме найти.

— Мы знаем, что в некотором неопубликованном документе, написанном незадолго до смерти, Назиров говорит, что отныне главной его заботой становится продвижение молодых талантливых людей, а про себя он может уже забыть, ему недолго осталось. Там нет тебя.

— Там вообще не названо имён.

— Нет, там названо несколько человек.

— Там упоминаются ученики более старшего поколения.

— Да, но это не закрытый список. Как ты думаешь, ты вступишь в число тех, кого он имел в виду?

— Думаю, что нет. Что значит «продвигать»? Возить с собой на конференции? Но он сам почти не ездил. Я плохо себе представляю, что он имел под этим в виду. Что он реально мог? Да, он, безусловно, был уважаем. И, между прочим, я прекрасно помню, что когда приезжаешь магистрантом на какую-нибудь конференцию по Достоевскому и тебя спрашивают, у кого вы пишете (по-моему, я так познакомился с Котельниковым), отвечаешь «у Назирова», и реакция: «О!» Вот это «о!», когда говоришь имя своего научного руководителя, этим он мне помогал.

— **Не активно.**

— Я думаю, что он понимал, что у меня есть дополнительные возможности, связанные с ранним вхождением в этот круг. В момент аспирантуры моя научная карьера уже началась. Меня в Старой Руссе уже знали, знали, что есть такой, что он делает приемлемые доклады, можно его звать, иногда можно его послушать. Он понимал, что это состоялось и без его организационного и интеллектуального участия.

— **А его интеллектуальное участие в тебе насколько ощущалось, учитывая дистанцирование, с другой, преподавание системы?**

— Оно было, более того, я думаю, что какие-то мои представления об истории культуры, его стадияльном/нестадияльном развитии, которые сейчас во мне живут, идут от Назирова, и, возможно, не во всём отрефлексированы. Мы это как-то с тобой обсуждали: начинаешь с людьми говорить о поэтике романа и вдруг обнаруживаешь, что то, что для тебя очевидно, человек воспринимает как новость. Это отчасти последствия назировского воспитания. Влияние, конечно, было. Другое дело, что я испытывал множество разнородных влияний. В какой-то момент могло показаться (и могло так действительно быть), что эти влияния перекрывали назировское. Тут и влияние родителей, тут и влияние философии, в которую я периодически нырял очень надолго. Как раз в конце магистратуры, начале аспирантуры я собрал всего Хайдеггера, который выходил на русском языке. В последние годы я пропустил несколько изданий, но тогда я аккуратно подчищал, заказывал и так далее.

— **Ну вот я слышал от одного из преподавателей философского факультета Башкирского университета, что этот преподаватель рассчитывал, что ты будешь его аспирантом и перед тобой (с его точки зрения) стояла некоторая ситуация выбора, идти на философию или в литературоведение. И в какой-то момент, с точки зрения этого преподавателя, Назиров настолько загрузил тебя работой, связанной с литературоведением, что ты вынужден были отказаться от философии.**

— В магистратуре такого выбора уже не стояло. Ясно было, что я пой-

ду в аспирантуру по специальности 10.01.01. Этот выбор реально стоял на 4-м курсе, когда я мог пойти в магистратуру по философии, соответственно, с дальнейшей аспирантурой. И преподавательница, о которой ты говоришь, тянула меня к себе, открыто агитировала, как раз перед магистратурой, на 4-м курсе. Я тогда сознательно отказался, понимая, что для диссертации важен научный масштаб и статус научного руководителя.

— **То есть это был твой выбор, а не диктаторское влияние Назирова?**

— Нет, Назиров меня не загружал. Это было непохоже на его обычное обращение с дипломниками. Не было такого, чтобы он дал мне 10 книг и сказал: «прочти за неделю». Или чтобы он каждый месяц требовал от меня по 5 страниц диплома или диссертации. Он мне про мою курсовую напомнил за три дня до её сдачи: «Вы собираетесь сдавать курсовую, Серёжа?»

— **Выбор был обусловлен масштабом личности?**

— Масштабом личности.

— **Насколько ты отрефлексированно подходил к тому, чем этот масштаб объясняется? Или это было ощущение?**

— Я тогда уже понимал, что он и философски подкован лучше, чем наши философы. Я понимал, что за этим стоит больший научный вес в своей области. Это был сознательный выбор. Может быть, преподаватель, о котором мы говорим, эту версию подхватил и от меня, я мог ей сказать что-то такое, чтобы ей было не обидно. Что-то она досочинила, потом сама поверила в эту версию. Никому не хотелось конфликтов.

— **В конце 2003 года у Назирова резко ухудшилось состояние здоровья, и в какой-то момент с его подачи (для меня это произошло через посредство Дины Гафановны) нас с тобой пригласили для разбора архива. Для меня это был период самого тесного общения с Назировым, самого глубокого проникновения в его интеллектуальный быт.**

— Для меня тоже.

— **Наверное, будет полезно, если ты расскажешь со своей точки зрения об этом эпизоде, об ощущениях, которые его сопровождали, о воспоминаниях.**

— Во-первых, мне было интересно. Я слышал от матери, что у него есть архив, много написанного неизданного. Мне было интересно, и я пошёл.

— **Не робел?**

— Я его всегда робел в каком-то смысле. И в аспирантуре он вызывал у меня некоторую робость. Всегда было некоторое напряжение. Рассла-

биться в его присутствии я никогда себе не позволял. Потом, если бы всё иначе сложилось, он бы не умер, я бы закончил кандидатскую, начал работать, это было ушло, наверное. Но я всегда его робел и именно поэтому иногда нахальничал.

— **То есть не только интерес, но и дополнительный thrill.**

— Да. Когда всё это началось, я был поражён объёмом. Я представлял себе всё иначе, в виде маминого архива: два-три десятка папочек. Ага! Я был поражён и тогда у меня начался какой-то разворот, и возник вопрос, который я так и не решился ему задать: почему это всё не публикуется?

— **Первое, что бросалось в глаза, это всё-таки очень плотно уложенные тетрабочки на полках.**

— Нет, мне не это бросалось в глаза. Мне почему-то запомнились плотные стопки машинописи. Они лежали на столе, он их укладывал в папки, давал нам и говорил, что надписывать. Я спросил, что это за работы, он сказал, что это неизданное. Я не знаю, сколько этих папок было, может быть, память рисует это преувеличивая, но запомнились эти толстые стопки. Там некоторые папки надписаны моим почерком.

— **Какие были ощущения от взаимодействия с ним по поводу этих рукописей?**

— Он стал человечнее. Предстал в неожиданном ракурсе. В быту я плохо себе его представлял. Пришёл, поговорили, предложит чай попить. И вот эта маленькая советская кухонька. . . И всё равно есть ощущение причащения. Он не бытом занимается, он нисходит до быта. Это ощущение было не только у меня. Два моих однокурсника рассказывали, что они сели выпивать в пивнушке напротив его дома (сейчас там пиццерия) и с восторгом, захлёбываясь, рассказывали (причём это был курс 4-й), что заходит, дескать, Назиров, спрашивает себе 50 грамм водки, выпивает, закусывает, подмигивает и уходит. Спрашивается, в чём причина для восторга? Ну, человек на морозе, идя домой с работы, зашёл в рюмочную, выпил рюмку водки, закусил бутербродом, подмигнул своим студентам и пошёл. А в его исполнении это производило большое впечатление. Как в том эпизоде, который я как-то рассказывал, когда жена должна была родить примерно в момент защиты магистерской: «Я эту защиту отменю», — сказал Назиров. Ничего особенного не было сказано, но когда это говорил он, это производило впечатление, как будто Зевес решил наши проблемы.

— **А откуда это шло? Это от нашей заданности его восприятия или он его формировал?**

— Не знаю.

— **Может быть, это тяжёлое наследие советской педагогики,**

которая нам навязывала особый образ преподавателя?

— Вот это точно нет. Никакого особого пиетета я не испытывал перед другими преподавателями. Я понимал, что нужно быть вежливым, статус, авторитет. . . Но пиетета не было. Некоторое уважение, смешанное со страхом кто-то вызывал, но и то из-за сложности предмета. Я был молодой, наглый, стипендиат того и сего. Я наглед, периодически справедливо за это получал.

— **Ты шёл туда, чтобы посмотреть, что там есть.**

— Как в пещеру Али Бабы.

— **Насколько ожидания оправдались?**

— Почитать нам ничего тогда не удалось. Но объём поразил. Поразили названия, чувствовалось, что это что-то мощное. Сам Назиров стал как-то ближе. Робость осталась, пиетет остался, но я бы сказал, что отстранённость ушла. Он стал человечнее, понятнее.

— **Это было обусловлено знакомством с архивом или его состоянием? Он ведь всё-таки был болен.**

— Нет, когда он болел, его характер портился.

— **Он всё-таки плохо говорил, плохо двигался.**

— Что он плохо говорил, я не помню. Дышать ему было тяжело, но говорил он нормально.

— **У него не двигалась часть лица.**

— Не знаю, может быть, ты наблюдательнее. Я не помню этого. Я прекрасно помню, что в больнице, когда он пришёл в себя на второй день после операции а я пришёл к нему и принёс «Караван истории», который он любил читать для отдыха, там как раз был обед, он пошёл в столовую, а операция была тяжёлая, он еле ходил, но бодрился, шёл сам. Там были ступенечки, я даже не подумал, рефлекторно поддержал его за руку. Он накричал на меня в этом больничном коридоре: «Я не инвалид! Я прекрасно себя чувствую! Что вы себе позволяете?» То есть он среагировал так, что я думаю, если мог бы — он бы мне врезал. Я думаю, это его ещё больше бесило, что он не может врезать физически. Он был в ярости. Нemoшь его, скорее, злила. Но в момент предыдущий, когда мы разбирали архив, мне он показался сосредоточенным и благостным. Его самого эта деятельность успокаивала. Может быть, он так отвлекался от необходимости оперироваться.

— **Почему он позвал именно нас?**

— Я бы не хотел отвечать на этот вопрос, потому что ответ будет воспринят как самореклама.

— **Запомнилось ли тебе что-то из его художественных опытов тогда?**

— Нет. Вроде бы, он взял черновик какой-то прозы, пролистал, бросил его в мусор и сказал: «Сколько времени потрачено зря!» Но это и ты помнишь.

— **Я спрашиваю, потому что у меня на тот момент в голове было серьёзное разделение и я считал, что литературовед — он литературовед, и он не пишет прозы. Для меня тогда было бы удивительно узнать, что Назиров пишет что-то художественное. Потом, уже после смерти Назирова, я встретил на улице одного из членов кафедры, сказал, что мы разбираем архив, и обнаружили там стихи. Мой собеседник сказал: «Надо же! Значит, он тоже этим баловался».**

— Я не рефлексировал на эту тему тогда. Более того, если бы увидел, для меня это было бы менее интересно. XX веком я интересовался больше зарубежным, и то, скорее, первой половиной. Из второй половины только латиноамериканцами. Я бы вряд ли заинтересовался. Плюс к тому, я в тот момент уже нал, что у него есть какие-то художественные произведения.

— **Откуда?**

— Скорее всего, от матери. А она либо помнила какие-то его первые публикации, либо что-то видела когда-то. Для меня это не представляло ни интереса, ни проблемы. Что-то литературоведческое я бы с удовольствием прочитал у него новое неизданное. Я тогда понял, что диссертация гораздо больше, чем автореферат. Хотя все эти папки я воспринял как черновики. Во всяком случае, я не припомню момента удивления, что у него есть полный текст диссертации.

— **Сразу перед операцией и сразу после операции. . .**

— Я помню до операции конкретный момент. Мы пришли к нему с мамой. Он всех собрал: я с мамой, Дина Гафановна, Людмила Ивановна Брянцева и Рима Ханифовна Якубова. Там зашла речь о том, что он может умереть, и он, кокетничая, сказал, мол, «все распоряжения делаю при вас»: квартиру туда-то, книги туда-то, рукописи туда-то. Сделал такие распоряжения, явно рисуясь, и добавил: «вы все свидетели».

— **Его отношение к рукописям?**

— Оно было деловым. Он много выкидывал, не испытывал пиетета к своим рукописям. Мы вынесли тогда два мешка «мусора». Он рвал или комкал тщательно. Это я запомнил. Над рукописями он не трясся. Он тщательно смотрел каждую бумажку, и если она казалась ему ненужной с практической точки зрения, он без особой злобы, не колеблясь, отправлял её в утиль. Какую-то особую эмоцию только в связи с разорванной открыткой Фридлендера я помню.

— **При этом бумажки, которые могли понадобиться в гря-**

дущей работе, он оставлял. То есть надежда на продолжение работы у него была.

— Да, у меня сложилось впечатление, что он целенаправленно всё раскладывал. Правда, я должен сказать, что я не помню в тогдашнем его раскладывании рабочих его бумажек, этих листочков. . . . Это была машинопись и рукописи, я даже тетрадей не очень помню.

— **Были и бумажки, и вырезки.**

— Мне не запомнились. Я помню связку тетрадей по истории эстетических учений. У меня было впечатление, что он выкидывает то, что не нужно, и оставляет то, что должно остаться, делает это сознательно и осознанно. И это было видно. Я помню, что он из каких-то рукописей, просматривая их, мог из середины взять два листа и выбросить их. Может быть, это были тетради. У меня есть чёткое ощущение, что он осознавал возможность смерти, её опасность, может быть, предчувствовал что-то, но надеялся и верил, что будет жить.